

В.Т. Нарезный

Романы и повести

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
В11

В.Т. Нарезный
В11 Романы и повести / В.Т. Нарезный – М.: Книга по Требованию, 2021. – 320 с.

ISBN 978-5-4241-1843-2

В. Т. Нарезный — русский писатель, автор первого бытового русского романа, родоначальник реалистической школы, предшественник Гоголя. Он первый дал образцы русского романа, свободного от подражательности сентиментальным, нравоучительно-отвлеченным переводным романам, которыми зачитывалась русская публика конца XVII и начала XIX века.

ISBN 978-5-4241-1843-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© В.Т. Нарезный, 2021

Василий Трофимович
Нарежный
Собрание сочинений в двух
томах
Том 2. Романы и повести

Бурсак

Василию Михайловичу Федорову
Милостивый государь Василий Михайлович!

Дружеская благосклонность, кою почтили Вы меня с начала довольно давнего уже нашего знакомства, без всякой со стороны моей заслуги, налагает на меня приятный долг благодарности. В засвидетельствование сего я имею честь посвятить имени Вашему сочинение мое, под заглавием: «Бурсак». Примите сей малый опыт моей преданности со свойственным Вам великодушием.

Василий Нарезный
Августа 4 дня 1822 года.

Часть первая

Глава I

Бурса

Блаженной памяти отец мой, дьячок Варух Переяславского полка, в селе Хлопотах, был великий мудрец в науках читать, писать и распевать на крилосе. Он так был громогласен, что когда в часы веселье взлезет, бывало, на колокольню и завопит, то рев его был слышнее, чем звон главного колокола, и это звонарю крайне досадно было.

Как у Варуха, кроме меня, детей не было, то он, презрев тогдашний обычай, чтобы не заставляя учить ничему детей до двенадцатилетнего возраста, принял за меня по прошествии шести лет с такою ревностю, что в двенадцать я уже читал и писал не хуже его и пел на крилосе на все восемь гласов. Слава моя не мало утешала отца; но к чести его скажу, что он сим не ограничился и захотел сделать меня, по словам его, настоящим человеком.

Он имел друга в келейнике! ректора переяславской семинарии и посему, запасшись рекомендательным письмом от богатого пана, проживающего в Хлопотах, к сей высокой духовной особе, отправился со мною в город, отстоящий от села верст на десять. Лето было в половине и день ясный.

— Неон! — сказал дорогою Варух, — когда ты будешь столько счастлив, что дозволит тебе учиться в семинарии, то смотри не ленись, и бог тебе поможет. Там-то будешь иметь случай набраться всякой мудрости, о коей нашему брату и подумать страшно. Отличась в науках, ты можешь надеяться — велика власть господня! — надеяться быть со временем в каком-нибудь селе дьяконом! Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!

Рассуждая таким образом, добрали мы до города, и я разинул рот от удивления. Какие церкви, какие дома, какие сады и огороды! Проходя улицы, я поминутно дергал отца за полу, спрашивая: «Это что?» Он молча продолжал путь с великою важностю, как будто ничто его не трогало. Это был субботний день, и народ расходился от вечерень. Какое множество людей обоих полов! какое великолепие в нарядах!

Подошел к одной церкви, отец мой постучался у ворот маленького домика.
— Это жилище хорошего моего приятеля, дьячка же, Варула, где мы перено-

чаем и посоветуем о нашем деле.

В сие время вышел к нам низенький толстый человек об одном глазе. Он тотчас узнал отца моего, оскалил зубы, поздоровался, ввел нас в светелку и усадил на лавке.

Когда Варул подробно узнал намерение Варухово относительно меня, то объявил, что оно очень не худо само по себе, но весьма худо потому, что вручить рекомендательное письмо отцу-ректору очень трудно.

— А келейник его высокопреподобия, всесестный Паисий, что такое? — вскричал отец мой.

— Ты, видно, давно с ним не видался, — отвечал Варул, — теперь и всесестный Паисий, как и все другие, взялся за ум, и кто приходит к нему с пустыми руками, для того и ректор не видит и не слышит.

— Подлинно, что худо, — сказал Варух, понизив голос и почесавши в затылке, — я и не знал, что старинный друг мой так переменялся; правду, однако, сказать, что и мы, хотя также всесестные люди, а даром ни для кого и рта не разинем. Любезный друг Варул! ссуди мне рубль денег, так я поднесу его другу Паисию.

Варул, в свою очередь, задумался и также почесал в затылке. Наконец глаз его просветлел, он протянул к отцу моему руку и сказал:

— Изволь, друг Варух, ссужу тебя деньгами; но я кое-что выдумал и надеюсь, что тебе это будет не противно. Возьми половину сих денег, ступай к знакомой тебе шинкарке Матридии и купи добрую меру пенники да другую вишневки; я же побегу к Паисию и приглашу его на ужин. На такие звы он не причудлив и отказываться не охотник. Дорогою искуплю я на другую половину пару кур, утку и гуся. Тут-то поговорим мы с Паисием о нашем деле и, надеюсь, не без успеха; а мы с тобою будем иметь тот барыш, что и сами поедим и поьем подьячковски.

Не для чего пространно рассказывать о пирушке, происходившей в доме Варула; за полными чарками заключен союз, целию коего было определение дячковского сына Неона в семинарию. К концу сего ночного праздника восторженные друзья, обнимаясь между собою и обнимая меня, поздравляли с поповским саном. На другой день отец Варух с своим сыном представлены ректору, приняты благосклонно, и Неон получил дозволение набираться мудрости в семинарии и жить в тамошней бурсе.

Есть многие сельские и иногородные отцы, кои, охотно желая видеть сыновей своих учеными, по бедности не в силах содержать их в городе, где понадобилось бы платить за квартиру и за пищу. Чтобы и таковым доставить посильные способы к образованию, то помощью вкладов щедрых обывателей и по распоряжению монастырей при каждой семинарии устроены просторные избы с печью или двумя, окруженные внутри широкими лавками; на счет также монастырей снабжаются они отоплением, и более ничем. Сии-то избы называются бурсами, а проживающие в них школьники — бурсаками. Старший из студентов, по воле ректора, управляет другими, неся величественное имя консула, в том предположении, что и начальный Рим был не что иное, как бурса.

Варух и Варул ввели меня торжественно в сей вертеп премудрости и отрекомендовали консулу и будущим совойтелям; а чтоб я милостивее был принят, то отец мой вручил консулу полтину денег, прося приготовить праздничный ужин.

После чего, снабдя меня соломенным мешком и какою-то латинскою книгою на польском языке² и благословя гривною денег, сказал:

— Неон! не печалься, друг мой! Я оставляю тебя в надежном пристанище. Бойся бога, чтя старших и слушайся, не лги и не крадь, — тогда ты угоден будешь и богу и людям. Учись прилежно, когда хочешь быть благополучен. Каждый месяц ты меня увидишь или, по крайней мере, обо мне услышишь. Друг мой Варул не оставит тебя своею милостию. Прощай.

Обняв меня, оба друга удалились. Стоя у дверей бурсы, я провожал их слезящими глазами; когда же скрылись, то я вздумал осмотреть кругом новое мое обиталище. Это был сарай, состроенный из плетня, обмазанного изнутри и снаружи желтою глиною; крыша была соломенная; двери и четыре круглые окна освещали сие здание. Впереди имело оно обширный пустырь, поросший высоким бурьяном, однако торчало на оном с десяток полуусохших шелковичных деревьев; с задней стороны примыкалось к высокому берегу реки Десны; правая боковая сторона граничила с забором огромного сада, принадлежащего монастырю, в коем помещена и семинария; левая — с чьим-то пространным огородом, на углу коего стоял шинок.

Осмотрев сие пленительное место, я вошел в бурсу и уселся в углу на лавке, на своем ложе. Консул — это был высокий, дородный, смуглый мужчина с большими черными усами — лежал на лавке на войлоке, склонив голову на связку травы и держа в руках претолстую тетрадь. Из двадцати пяти моих товарищей, кои все были гораздо возрастнее меня, человека с четыре уже усланы для закупки вещей, нужных к ужину, а остальные заняты были различным образом. Иной басил ужасным голосом духовную песню; другой брэнчал на балалайке, под звук коей человека два-три скакали впрысядку; некоторые боролись или бились на кулачках; словом, всякий делал что хотел, при всем том один другому не мешая.

Солнце клонилось к западу; купчины возвратились, принеши с собою полбарана, мешок со пшеном и деревянную баклагу с пенником. Консул сейчас вскочил и, овладев баклагою, отведал; и, похваля напиток, пошел с нею на берег Десны, куда и я, по данному знаку, вместе со всеми ему последовал. Три кашевара развели огонь, утвердили тревожный таган, рассекли баранину на куски по числу братии и начали стряпню. Между тем консул, отделившись с шестью товарищами, сел на берегу и начал целоваться с баклагою, не забывая своих собеседников; прочие, позади коих был и я, разлегшись на траве, точили балы, рассказывали сказки и присказки и производили самые чудные телодвижения. Видя, что консул не делал их участниками в осушивании баклаги, я у соседа своего спросил тому причину.

— Мы еще не имеем на то права, — отвечал он с тяжким вздохом, — ибо мы все только этимологи, поэты и риторы, и оттого-то не смеем, под опасением строгого наказания, пить вино, курить табак и отращивать усы. А как консул Далмат и его товарищи все философы, то они на сии преимущества имеют всякое законное право.

Не понимая, что значат сии неслыханные мною слова, я замолчал и продолжал внимательно смотреть и слушать. Каша поспела, и котел поставлен на лужайке. Консул с своими товарищами сели около него, а прочие составили второй круг; всякий вытащил из кармана длинную ложку и начал упражнять свои челюсти

сколько было силы. Хотя

отец мой и забыл снабдить меня ложкой, но консул приказал младшему из бурсаков делиться со мною своею. Котел опорожнен; все удалились в бурсу и легли на лавках. Я также растянулся на своем мешке и скоро уснул крепко.

На следующее утро консул, сопровождаемый своими подчиненными, отправился в семинарию и представил меня префекту³. Это был преважный протопоп и составлял второе лицо после ректора. Меня отвели в надлежащий класс, где и начали преподавать латинскую, польскую и русскую азбуку. Менее нежели в час прозорливый учитель, католический монах, догадался, что я церковные книги читал столько же проворно и внятно, как стихарный дьячок, а посему дальнейшее в сем упражнении признано излишним, а советовали мне всеми силами налечь на изучение языков латинского и польского. Перед полуднем раздался на дворе семинарском звон колокола; учитель и ученики поднялись с мест, и первый дал мне знак приблизиться к нему и протянуть обе руки, распрямля ладони. Я исполнил, и наставник с улыбочкою удовольствия вlepил в каждую ладонь по полдюжине резких ударов деревянною лопаткою. После сего пропета торжественно молитва, и всякий пошел домой, а я в бурсу. Дорогою нагнал меня один из моих товарищей, по имени Кастор, которому со слезами рассказал я о наказании, невинно полученном от учителя.

— Друг мой, — сказал он засмеявшись, — ты еще нов и неопытен. Дюжина добрых ударов, тобою полученных, совсем не есть знак учительского гнева, а, напротив, доказательство особенного благоволения. Здесь теперь такое заведение, чтобы всякого ученика, вступающего в сей храм мудрости, приучать к кротости и терпению. Хотя обыкновение сие почти ни одному новичку не нравится, но к нему привыкают, а особливо, зная, что количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть скорее диаконом или и попом.

— Но, — говорил я подумавши, — отец мой сказывал, что в семинарии обучается много дворянских и купеческих сыновей, которые никогда не думают быть ни дьяконами, ни попами.

— О, — сказал товарищ, — на таковых наше начальство не обращает никакого внимания. Впрочем, заметь, Неон, — я по дружбе тебе это открою, — если ты будешь терпелив, послушен и совершенно предан воле учителя, то испытание сие продлится недолго; в противном случае оно будет бесконечно, и ты в тридцать лет будешь не что другое, как сельский дьячок, сколько бы учен ни был. Обладая же помянутыми мною добродетелями, ты скоро получишь выгодное место.

Разговаривая таким образом, вступили мы в бурсу.

Глава II

Способы к содержанию

Привыкши у отца никогда желудок не доводить до ропота, я крайне запечалился, не видя и следа обеда; но, вспомня, что у меня в кармане целая гривна, я тотчас сделал план к удовлетворению алчбы и, вышед из бурсы, опрومتью бросился к площади, граничащей с семинариєю, где поутру еще мельком заметил множество торговок с хлебом разного звания. Я купил за целую копейку большую булку и принялся насыщать себя с великим удовольствием; еще добрый ломоть оставался в руке моей, когда вступил я в свою обитель. Немало испугался я,

взглянув на консула. Он ходил по сараю большими шагами и, обратясь ко мне, спросил свирепым голосом:

— Где был ты, негодница?

С трепетом показал я остаток булки и не мог промолвить ни одного слова, сколько от испуга, столько и от того, что рот был полон.

— Понимаю, — вскричал он, — сей бунтовщик, никому не сказавшись, ходил на рынок. Ликторы! сейчас нарежьте два пука крапивы и накажите виновного!

Двое из бурсаков, которых называли риторамы, бросились в бурьян и вмиг возвратились с пучками зрелой крапивы; двое других кинулись на меня, повалили на пол и разоблачили, а первые двое начали хлестать весьма исправно. Я кричал как отчаянный; но они не прежде выпустили меня из рук, пока не увидели, что крапива измочалилась. Уединясь в темный угол, я плакал неутешно. «Если такими средствами, — думал я, — приобретается премудрость, столько прославляемая отцом моим, то пропадай она, негодная. В тысячу раз лучше оставить всю надежду быть когда-либо дьяконом, чем беспрестанно пробовать на себе действие лопаток учительских или крапивных прутьев от каких-то ликторов».

Быть может, я и надолго остался бы в таком пасмурном расположении, если бы не рассеял меня вошедший бурсак Кастор, которого за веселый нрав полюбил я с первого еще раза.

— Что это значит, Неон? — спросил приятель, — что ты и до сих пор печалиться о безделице? Поверь, друг мой, что такие происшествия не заслуживают внимания.

Вместо ответа я показал ему спину.

— Да, — продолжал он с важностию, — ты изрядно исписан; но это пройдет, и не заметишь, как пройдет.

Когда я жаловался, что консул во зло употребляет возраст свой, силу и право пить вино, курить табак и носить усы, Кастор сказал мне:

— Напрасно так думаешь, приятель, и, видно, не знаешь наших постановлений. Послушай же: почтенное сословие бурсаков образует в малом виде великолепный Рим, и консул управляет оным вместе с сенатом. В консулы избирается старший из богословов, а прочие богословы и философы образуют сенаторов; риторы составляют ликторов, или исполнителей приговоров сенатских; поэты называются целерами, или бегунами, которые употребляются на рассылки; прочие составляют плебеян, или чернь — простой народ. Видишь, как все это прекрасно устроено! Если бы консул сделал какое позорное дело, то сенаторы доносят о том ректору, и тот немедленно снимает с него сей величественный сан и, наказав по мере вины палками, розгами или и батожем, обращает в звание сенатора. Зато и консул имеет свои выгоды и преимущества. Именно: если кто провинится из нас, но немного, как, например, сегодня ты, то он один своею властью определяет меру наказания; в случае же вины важной он созывает сенат и с ним вместе рассуждает о деле и произносит кару. Кроме одежды и обуви, у нас все общее и хранится в каморке, пристроенной к бурсе, а ключ всегда у консула. Главный промысел наш состоит в пенни под окнами мирян церковных песней или — если кто столько смышлен — в проворстве рук. Мы получаем мукою, свиным салом, птицами, зеленью разного рода и отчасти деньгами, которые обыкновенно переходят от нас в руки шинкарки Мастридии, торгующей вблизи от нас. По сим основаниям самыми злыми преступлениями почитаются

у нас, если кто изобличен будет в утайке хотя одной добытой копейки или попадется в сети на ручном промысле.

Так поведал Кастор о законах сего малого Рима, как прибежал целер с объявлением, что каша готова.

— Ин пойдем, Неон, — сказал Кастор, вытаскивая из кармана ложку.

— Спасибо за ласку, — отвечал я, — пропадите вы все и с кашею; мне есть не хочется.

— Упаси тебя угодник божий, соименный тебе Неон, нейти со мною! Разве тебе хочется еще раз быть сечену?

— А за что?

— За то, что не хочешь с нами есть каши; это значило бы противиться уставам общества, о чем ужасно и помыслить.

Нечего было делать: я участвовал в общей трапезе, а после в купанье и отдыхе. Но лишь только раздался звон колокола на семинарской колокольне, как и в бурсе раздался басистый голос консула:

— Ребята! на работу!

Тотчас четыре философа, взяв на плеча по огромному мешку, стали поодаль один от другого. Консул, стоя против них, начал пальцем указывать то на того, то на другого из прочей вагаги, и вмиг к каждому мешконосцу присоединилось по несколько риторов, поэтов и инфимов. Я попал под команду Сарвила, философа веселого, смелого, собою дородного и сильного, но весьма вспыльчивого, так что, кроме сенаторов, все в бурсе его трепетали. Отряды сии двинулись в молчании, и младшие шли впереди, за ними старшие, а ход заключался философом. Как скоро прошли мы свой пустырь, то разделились на четыре части, и каждая небольшая шайка сия пошла по особой улице. Мы шли тихо, а философ, наш вождь, мерными шагами и с великою важностию, повертывая голову направо и налево. По приказанию его мы остановились под окнами одного видного дома, и он, подозревая меня, сказал:

— Это дом зажиточного купца; поди спроси!

Опряметью устремился я к воротам, otvorил калитку и вошел на большой двор. У самого входа в дом стоял большой стол, за коим сидели: хозяин, судя по платью, жена его и дети, и все полдничали. Сняв бриль⁴, с робостию подошел я к столу и трепещущим голосом сказал хозяину:

— Тебя приказано спросить.

— О чем и кто?

— Философ Сарвил, а о чем — не знаю!

Купец и жена его улынулись, а дети захохотали.

— Твой философ, — сказал хозяин, — по-видимому, не весьма разумный человек, что посылает спросить у меня, не сказавши о чем. Где этот философ?

— За воротами!

— Так поди же ты спроси, чего он от меня хочет?

Я выбежал на улицу и на вопрос: «Что сказал хозяин?» — отвечал с потупленными глазами:

— Он сказал, что ты, по-видимому, не весьма разумный человек, когда послал меня спросить у него, не сказавши о чем.

Философ заскрипел зубами.

— Ах ты, проклятый, — вскричал он и такую отвесил мне пощечину, что у

меня глаза ушли под лоб и я опрокинулся на землю.

— Поди ты, — сказал он другому бурсаку, — и спроси.

Сей бросился как стрела, в один миг возвратился и воззвал громогласно: «Дозволяется!»

Скинув бремя, вступили мы на двор и стали полукругом около стола сажени за две. Тут раздался ужасный рев Сарвила, так что все вздрогнули, прочие ему подтянули, и начался духовный концерт. Я взглянул на своего вождя, и ужас обнял меня. Представь себе, кто хочет, высокого черного мужчину, с разинутой пастью, выпучившего страшные глаза и дерущего горло, шевеля длинными усами. Трепеща всем телом, я вообразил: что будет со мною, если сей ужасный философ даст другую пощечину? Я погиб невозвратно! Тут не мог я удержать слез и утирал их кулаками.

Концерт кончен. Сарвил, подошел к самим хозяевам, протянул руку и проговорил речь, которую кончил желанием хозяину и хозяйке с чадами и домочадцами счастья и многолетия. Едва замолк он, как вся ватага воскликнула многая лета.

Когда все утихло, то ласковый хозяин поднес философу большую чарку водки и сунул в руку сколько-то денег; по приказанию доброй хозяйки в наш мешок высыпана мерка гороха, впущена часть свинины и оставшийся от полдни-ка большой кус жаркой говядины.

Когда философ низко кланялся хозяевам, призывая на дом их благословение божие, хозяйка, подозвав меня, спросила весьма ласково:

— О чем плачешь, мальчик?

— О том, — отвечал я, взглянув на Сарвила, — что не знал, зачем был сюда послан.

— Разве тебя за это побранили?

— Побили, и весьма больно!

— Это нехорошо, — сказала она Сарвилу, — и тебе бить такого мальчика даже стыдно.

После сего она, взяв со стола небольшой пирог, подала мне, сказав:

— Поешь, голубчик, и не плачь.

Мы торжественно отправились на улицу. В то мгновение, как услышал я стук запертой калитки, к величайшему удивлению почувствовал, что вишу на воздухе на аршин от земли и верчусь кругом; невидимая рука держала меня за пучок, и ловкий удар поразил по макуше. Я поднял такой пронзительный вопль, что демон, меня истязавший, опустил на землю и поставил на ноги. Едва я мог стоять. Вдруг слышу голос:

— Какой ты бессовестный студент, что так мучишь безвинного малого!

Это был голос ласкового купца.

— Постой, — продолжал он, — я сейчас иду к ректору посмотрю, как он рассудит об этом поступке.

Философ переменился в лице и стоял неподвижно. Хотя для меня и ужасен был Сарвил и, конечно, не худо было бы, если б его порядком пошуняли, но имя ректора было для меня еще ужаснее. Посему я отведен был в бурсу и отдан консулу, коему объяснено бесчеловечие, оказанное мне моим полководцем. Консул обещал воздать удовлетворение и, по выходе доброго купца, лег на свой войлок и закурил трубку, не говоря мне ни слова и даже не глядя на меня.

По закате солнечном все четыре ватаги наши почти в одно время возвратились. Кисы их были довольно наполнены⁵, и когда все осмотрено и деньги вручены консулу, то он отвел в угол Сарвила и начал с ним шептаться. По прошествии малого времени консул громко произнес:

— Не правда ли, братцы, что для перемены в пище не худо было бы на вечер сварить кашу тыквенную?

Все одобрили такое предложение. Тогда он возгласил:

— Неон, Памфил, Епифан и Аверкий залезут в ближний огород и будут рвать там тыквы и что попадетя, ибо все устроено на потребу человека, а риторы, Максим и Лукьян, станут у забора с мешками для принятия добычи.

Когда смерклось, то будущие мои товарищи в сем ночном подвиге начали готовиться, то есть скинули халаты и засучили рукава. Хотя для меня крайне было ново и отвратительно такое художество, но что будешь делать? Я приготовился по их примеру, и все отправился на место атаки. Риторы, яко старшие, назначили каждому из нас место, где должно перелезть плетяной забор, и мы мигом очутились на огороде.

Случись же, что передо мной простирались гряды с арбузами, дынями и огурцами. Давненько не случалось мне отведывать плодов сих, и, рассчитав, что добычи трех моих сотрудников достаточно будет на всю нашу ученую шайку, я, в нескольких саженьях от забора, севши на гряде, начал насыщаться огурцами, предположив, по окончании сей первой потребности, сорвать пару хороших арбузов и дынь и предаться с ними бегу. Когда огурцы уже более не шли мне в горло, то я, оторвав по преднамерению по паре арбузов и дынь, хотел встать; но не тут-то было: нога моя была прикована к земле. Ужас обнял меня, и я испустил резкий вопль. Товарищи мои как прах рассеялись, и из борозды, подле самых ног моих, поднялся преужасный мужичина с престрашными усами. Я оцепенел и сидел на гряде неподвижно.

— Как осмелился ты, — спросил он грозно, — молодой мошенник, залезть в огород сей и делать в нем такое опустошение? Кто ты?

Пришед понемногу в чувство, я встал, поклонился ему в ноги и рассказал все похождения, случившиеся в сей несчастный день до настоящей минуты.

— О, проклятые бурсаки! — вскричал он, — вы для огорода моего гибельнее, чем воробы и грачи для вишневого сада! Но мне тебя жаль! Ты еще молод, может быть, рожден с честными склонностями, а попавши в скопище воров и мошенников, рано или поздно, непременно сделаешься нарядным плутом⁶. Хотя я тебя и прошу, но все товарищи приколотают тебя до полусмерти. Постой, я нашел средство избавить тебя от беды; но только дай мне слово никогда не посещать моего огорода. Когда захочешь полакомиться арбузом или дынею, приди явно в дом мой — вот в конце огорода — и попроси: никогда не откажу. Если же еще поймаю на воровстве, то пребольно высеку, а в бурсе и того более тебе достанется. Поди перелезть через забор и жди меня, а я сорванные тобою арбузы и дыни передам тебе. Когда тебя спросят о причине произнесенного вопля, то скажи, что в ноге сделалась судорога, и ты, не могши встать, боялся быть пойман. Ступай с богом! Помни: имя мое Диомид, по прозванию Король.

Как сказано, так и сделано. Когда я подошел к берегу реки, то при свете разложенного огня увидел полный сенат, собранный для моего суждения. Приметив меня, все подняли смешанный вопль; но когда я подошел к огню ближе и